150 000 000. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!

150 000 000. Владимир Владимирович Маяковский

150 000 000 мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.
Кто спросит луну?
Кто солнце к ответу притянет —
чего
ночи и дни чини́те!?
Кто назовет земли гениального автора?
Так
и этой
моей
поэмы
никто не сочинитель.
И идея одна у нее —
сиять в настающее завтра.
В этом самом году,
в этот день и час,
под землей,
на земле,
по небу
и выше —
такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:
«ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!
Всем,
кто больше не может!
Вместе
выйдите
и идите!»
(подписи):
МЕСТ — ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.
ГОЛОД — РАСПОРЯДИТЕЛЬ.
ШТЫК.
БРАУНИНГ.
БОМБА.
(три
подписи:
секретари).
Идем!
Идемидем!
Го, го,
го, го, го, го,
го, го,
Спадают!
Ванька!
Керенок подсунь-ка в лапоть!
Босому что ли на митинг ляпать?
Пропала Россеичка!
Загубили бедную!
Новую найдем Россию.
Всехсветную!
Иде-е-е-е-е-м!
Он сидит раззолоченный
за чаем
с птифур.

Я приду к нему
в холере.
Я приду к нему
в тифу.
Я приду к нему,
я скажу ему:
«Вильсон, мол,
Вудро,
хочешь крови моей ведро?
И ты увидишь…»
До самого дойдем
до Ллойд-Джарджа –
скажем ему:
«Послушай,
Жоржа…»
– До него дойдешь!
До него океаны.
Страшен,
как же,
российский одёр им.
– Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем!
Будилась призывом,
из лесов
спросонок,
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.
Щенки выстраивались в щенячий ряд.
Невыносим человечий крик.
Но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего):
«Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей –
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?
Свое животное горе киньте им!
Досы́та наесться хоть раз бы еще!
К чреватым саженными травами Индиям,
к американским идемте пастбищам!»
О-о-гу!
Нам тесно в блокаде-клетке.
Вперед, автомобили!
На митинг, мотоциклетки!
Мелочь, направо!
Дорогу дорогам!
Дорога за дорогой выстроились в ряд.
Слушайте, что говорят дороги.
Что говорят?
«Мы задохлись ветра́ми и пылями,
вьясь степями по рельсам голодненькими.
Немощеными хлипкими милями
надоело плестись за колодниками.
Мы хотим разливаться асфальтом,
под экспрессов тарой осев.
Подымайтесь!
Довольно поспали там,
колыбелимые пылью шоссе!
Иде-е-е-е-м!»
И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и.

К каменноугольным идемте бассейнам!
За хлебом!
За черным!
Для нас засеянным.
Без дров ходить —
дураков наймите!
На митинг, паровозы!
Паровозы,
на митинг!
Скоре-е-е-е-е-е-е!
Скорейскорей!
Эй,
губернии,
снимайтесь с якорей!
За Тульской Астраханская,
за махиной махина,
стоявшие недвижимо
даже при Адаме,
двинулись
и на
другие
прут, погромыхивая городами.
Вперед запоздавшую темь гоня,
сшибаясь ламп лбами,
на митинг шли легионы огня,
шагая фонарными столбами.
А по верху,
воду с огнем миря,
загнившие утопшими, катились моря.
«Дорогу каспийской волне баловнице!
Обратно в России русло не поляжем!
Не в чахлом Баку,
а в ликующей Ницце
с волной средиземной пропляшем по пляжам».
И, наконец,
из-под грома
бега и езды,
в ширь непомерных легких завздыхав,
всклокоченными тучами рванулись из дыр
и пошли грозой российские воздухá.
Иде-е-е-е-м!
Идемидем!
И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,
зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в
них,
все, что может двигаться,
и все, что не движется,
все, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая —
лавою все это,
лавою!
И гудело над местом,
где стояла когда-то Россия:
— Это же ж не важно,
чтоб торговать сахарином!
В колокола клокотать чтоб — сердцу важно!
Сегодня

в рай
Россию ринем
за радужные закатов скважины.
Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!
Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?
Что, слушая, небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?
Оттого
сегодня
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее ловя,
чтобы видеть это,
чтобы слушать эти слова:
это —
революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел
вмешавший людей и зверьи туши,
это —
руки,
лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел
вонзенные в клятвенном единодушье.
Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
эти слушайте песни:
«Мы пришли сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.
Мы пришли миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.
Мы пришли миллионы,
миллионы вещей,
изуродованных,
сломанных,
разоренных.
Мы спустились с гор,
мы из леса сползлись,
от полей, годами глоданных.
Мы пришли
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших,
тупых,

голодных.
Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов —

биясь
лбом,
ржавым железом,
полем –
все
истово
господу богу помолимся.
Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса –
бог-человек!
Звездам нá мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!
Не тот, который
«иже еси на небесех».
Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.
Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами дáруя.
А нам
не только, навое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.
Жажда, пой!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!
Наши ноги –
поездов молниеносные проходы.
Наши руки –
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники – пароходы.
Наши крылья – аэроплан.

Идти!
Лететь!
Проплывать!
Катиться! –
Всего мирозданья проверяя реестр.
Нужная вещь –
хорошо,
годится.
Ненужная –
к черту!
Черный крест.
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер –
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих –
всех миров богатство прикарманьте!
Стар – убивать.
На пепельницы черепá!
В диком разгроме
старое смыв,
новый разгрóмим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.
В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы –
розы столищ в лепестках площадей.
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Будет
наша душа
любовных Волг слиянным устьем.
Будешь
– любой приплыви –
глаз сияньем облит.
По каждой
тончайшей артерии
пустим
поэтических вымыслов феерические корабли.
Как нами написано, –
мир будет таков
и в среду,
и в прошлом,
и ныне,
и присно,
и завтра,
и дальше

во веки веков!
За лето
столетнее
бейся,
пой:
— «И это будет
последний
и решительный бой!»
Залпом глоток гремим гимн!
Миллион плюс!
Умножим нá сто!
По улицам!
На крыши!
За солнца!
В миры —
слов звонконогие гимнасты!
И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.
Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы!
Нет раба!
Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или — или.
Пропал или пан!
Будем бить!
Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!
Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам названье,
вся Россия, смерчем скрученная в столб?!
Совнарком —
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,

но такого
в какой удержишь заставе,
если
такой
шагнет?!
Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,
пошел
грозою вселенную выдивить.
В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.
Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо — Вильсон.
Место действия — Америка.
Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду нá год.
Чуднó человеку в Чикаго!
В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошовой свечи.
В Чикаго,
чтоб брови поднять —
и то
электрическая тяга.
В Чикаго
на версты
в небо
скачут
дорог стальные циркачи
Чуднó человеку в Чикаго!
В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.
А служба —
в барах быть,
кутить без забот и тя́гот.
Съестного
в чикагских барах
чего-чего не начу́дено.
Чуднó человеку в Чикаго!
Чуднó человеку!
И чу́дно!
В Чикаго
такой свирепеет грохот,
что грузовоз
с тысячесильной машиною
казался,
что ветрится тихая кроха,
что он

прошелёстывал тишью мышиною.
Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока –
начиняйтесь же и вы чудесами –
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исходи́те Америку сами!
Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,
пружиня бока в дирижабле!
Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижаблен.
А после,
с неба,
видные еле,
сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.
Тоннелем
в метро
подземные версты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.
Отсюда начинается то, что нам нужно
– «Королевская улица» –
по-ихнему
– «Рóяль стрит».
Что за улица?
Что на ней стоит?
А стоит на ней –
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
А в отеле том
в чистоте,
в теплоте
сам живет
Вудро
Вильсон.
Дом какой – не скажу.
А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.
Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.
То,
что можно увидеть,
один уголок,
но и то
такая диковина!
Посмотреть, например,
на решетки клок –
из гущённого солнца кована.
А с боков обойдешь –
гора не гора!
Верст на сотни,
а может, на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
не богом ли чищен?

Тоже лестница там!
Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
балкончиков,
портиков
сколько в ней ступéней
и не счесть ступне –
ступенéй этих самых
до чертиков!
Коль пешком пойдешь –
иди молодой!
да и то
дойдешь ли старым!
А для лифтов –
трактиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали –
если рады нам –
по пяти впускают парадным.
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
Какое!
Тут
опять начались покои,
Вас встречает лакей.
Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.
И опять булава.
И опять лакей.
Залу кончишь –
лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка-Хлестакова.
И только
уставши
от страшных снований,
когда
не кажется больше,
что выйдешь,
а кажется,
нет никаких оснований,
чтоб кончилось это –
приемную видишь.
Вход отсюда прост –
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам – (две) –
приподымемся,
взглянем,
ахнем! –
То не солнце днем –
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает огнем,
рыжий весь,
и ухает ухарево.
Посмотришь в ширь –
иоркширом иоркшир!
А длина –
и не скажешь какая длина,
так далеко от ног голова удалена!

То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди — мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Щеки ж
такой сверхъестественной мякоти,
что сами просятся —
придите,
лягте.
А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Вильсона
не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина.
А работает как!
Не покладает рук.
Может заработаться до смéрти.
Вертит пальцем большим
большого вокруг.
То быстрей,
то медленней вертит.
Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.
Мне
платить не хотят построчной платы.
Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.
Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.
Обкормленный весь,
опóенный.
И на случай смерти,
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.
Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:
я —
американский подданный.
Я —
свободный
американский гражданин.
Под ним склоненные
стоят
его услужающих сонмы.
Вся зала, полна
Линкольнами всякими.
Уитмэнами,
Эдисонами.
Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
Патти
знаете?
Тоже тут!
В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.

Имея наивысший американский чин –
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.
Паркеты песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.
Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп.
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар.
Ничего подобного!
Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут,
несут
мяса́,
масла́.
Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.
Небольшое примечание:
Художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют –
усатые,
безусые рожи –
и напрасно:
всё
это
одно и то же.
Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете
Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.
День
этот
был
огнеупорный.
В разливе зноя зе́мли тихли.
Ветро́в иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго

жара непомерная:
градусов 100,
а 80 — наверное.
Все на пляже.
Кто могли — гуляли себе.
А в большей части лежали даже.
Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и
мопсик,
раскормленный был,
как теленок.
Даме одной,
дремавшей в идиллии,
в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».
С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.
Так
довольно долго
все занимались
приятным времяпрепровождением.
Но уже
час тому назад
стало
кое-что
меняться.
Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.
В безветренном море
ширятся всплески.
Что такое?
Чего это ради ее?
А утром
в молнийном блеске
АТА
(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:
«Страшная буря на Тихом океане.
Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».
Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним

присоединились
маленькие пароходные компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомого
на улице
останавливали незнакомые –
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!
Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же,
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым –
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет.
Иван».
Что Иван?
Какой Ивам?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона
Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил –
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу.
Зá сто.
И…
очертанья идущего
нащупали,
заметили,
увидели маяки глазастые.
Строки
этой главы,
гремите,
время ритмом роя!
В песне –
миф о героях Гомера,

история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!
Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости да́ренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом орамим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.
Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.
(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)
Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.
(А в Чикаго,
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый, —
Илл-ля-ля-!
Олл-ля-ля! —
процелованный,
взголённый,
разухабистый.)
Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,

скользя по водным массам,
коронованный поэтами
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.
(А Чикаго
спит,
обтанцован,
опит,
рыхотелье подушками выхоля.
Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)
Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет.
Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже.
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.
Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжущий кратер.
Ревя несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие — к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких середин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багрóвей.
Белое все белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилеи.
Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!
Баста!
Над неприступным прошел Гибралтаром.
И мир
океаном Ивану распластан.
(А в Чикаго
на пляже
выводок шлюх
беснованием моря встревожен.
Погоняет время за слухом слух,
отпустив небылицам вожжи.)
Какой адмирал
в просторе намытом
так пути океанские выучит?!
Идет,

начиненный людей динамитом.
Идет,
всемирной злобою взрывчат.
В четыре стороны расплылось
тихоокеанское лоно.
Иван
без карт,
без компасной стрелки
шел
и видел цель неуклонно,
как будто
не с моря смотрел,
а с тарелки.
(А в Чикаго
до Вильсона
докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)
Вот та́к открыватели,
так Колумбы
сияли,
когда
Ивану
до носа –
как будто
с тысячезапахой клумбы –
земли приближавшейся запах донесся.
(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и…
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)
Сверльнуло глаза́ маяка одноглазье –
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в черта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.
(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.
Животами мышцы вздулись.
Ощупали.
Есть.
Готов.)
Доходит,
пеной волну опеня,
гигантам домам за крыши замча,
на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.
(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,

шлем ему бронированный возвели на лоб,
и к Ивану он гонит спех.)
Чикагцы
себя
не любят
в тесных улицах пло́щить.
И без того
в Чикаго
площади самые лучшие.
Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.
Люди,
место схватки орамив,
пускай непомерное! —
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,
с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.
Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.
Машины стекались, скользя на мази́.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.
Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит — судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.
Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде,
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.
Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был
«чемпионат
всемирной классовой борьбы!»
В ширь

ворота Вильсону –
верста,
и тó он
боком стал
и еле лез ими.
Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
желéзами.
Во Ивана входящего вперился он –
осмотреть врага,
да нечего
смотреть –
ничего,
хорошо сложён,
цветом тела в рубаху просвечивал.
У того –
револьвéры
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого –
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.
Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я –
о господи! –
этого сáмого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!»
И казалось –
растет могильный холм
посреди ветров обвываний.
Ляжет в гроб,
и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.
Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет –
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.
И пошло ж идти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.
О горе!
Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе

весть по оторопевшим рядам гоня.
Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.
Не Ленину стих умиленный,
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!
«Вставай, проклятьем заклейменный» —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный
голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный», —
они
голос подняли ржавый.
Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочники,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.
На толщь душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.
Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —
мясо
фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.
Сами себя из мостовых вынув, —
где, хозяин, лбище твой? —
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.
Не боясь сесть нá мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —
как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное все,

и все, что бéло,
билось друг с другом,
билось и пело.
Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в двéри там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»
И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.
Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.
Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов,
вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в сажéни
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь хаóс
ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.
Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел сторотый,
мильонозубый
ринулся голод.
Город грызнет — орехом расколот.
Сгреб деревню — хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,

вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха — фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.
Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит как палицей.
Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.
Искорежился,—
и во гневе
вудро,
приказав:
«сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябó,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.

Враги легли,
ножки задрав.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.
Вырывается у Вильсона стон, —
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылает он —
ядовитое войско идей.
Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.
Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пением завораживали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса
нагрузив,
пошел за профессором профессор.
Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адом пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись чернобелые попы.
Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.
А ну, чудотворцы,
со смертных одр
встаньте-ка!
На месте кровавого спора
опора веры валяется —
Пётр
с проломанной головой собственного собора.
Тогда
поэты взлетели нá небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.
Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали, не спустятся пока.
Поэты бросались, камнем пав, —
в работу их,
перья рифм ощипав!
В «Полное собрание сочинений»,
как в норки,
классики забились.
Но жалости нет!
Напрасно

их
наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.
Стенкой в стенку,
валяясь в пы́ли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.
Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсоицы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?!
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.
Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.
История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.
Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человечий кадр.
Большеголовые,
в красном сиянье,
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взыграет аэро,

и снова нет.
И снова птицей солнце заслóнится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегоднее торжество.
День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они
грянули:
— Начинаем!
«Голоса людские,
зверьи голоса,
рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все и все слушайте
мира торжественный реквием.
Вам, давнишние,
года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть
вам,
милльонолетию давшие
петь,
пить,
есть.
Вам, женщины,
рожденные под горностаевые
мантии,
тело в лохмотья рядя,
падавшие замертво,
за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостых детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожи́ли до чего-то,
и те,
кто ни до чего не дóжил.
Вам,
звери,
ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.
Вам,
расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы,
поэты.
Вам, которые
сквозь дым и чад,
жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали всё-таки,
делали всё-таки.
Вам неумолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные — слава вам,
миллионы живых,
кирпичных

и прочих Иванов».

Парад мировой расходился ровно, –
ведь горе давнишнее душу не бесит.
Годами
печаль
в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.
Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцвеченную.
Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!
[1919–1920]

Комментарии

Впервые – журн. «Художественное слово» (временник литературного отдела Наркомпроса), кн. I, М., 1920 (октябрь) – отрывки из поэмы: «Пролог всей книги» (гл. I, отрывок), «Вторая часть» (соответствующая главе II, отрывок) и отрывок из третьей главы.

Отдельное издание поэмы без указания имени автора – М., Гиз, 1921 г.

Авторизованные корректурные гранки отдельного издания поэмы с датой производственного отдела Госиздата: «22 ноября 1920 г.» (ЦГАЛИ).

«150 000 000» была задумана и начата в первой половине 1919 года, окончена в марте 1920 года. Название поэмы имело несколько вариантов: «Воля миллионов», «Былина об Иване», «Иван Былина. Эпос революции».

Керенки – казначейские знаки (бумажные деньги), выпущенные по указу Временного правительства от 23 августа (5 сентября) 1917 года достоинством в 20 и 40 рублей. Изготовлялись упрощенным способом и выпускались неразрезанными листами. Выпуск керенок привел к дальнейшему падению курса рубля до 7 копеек его довоенной стоимости. Окончательно изъяты из обращения в 1922 году.

Вильсон Вудро (1856–1924) – президент США в 1913–1921 гг., один из главных вдохновителей военной интервенции против Советской России.

Ллойд-Джордж, Давид (1863–1945) – руководитель английской либеральной партии, премьер-министр (1916–1922).

Но мы не подписывали договора в Версале… – Речь идет о подписанном в 1919 году Версальском договоре Германией со странами-победительницами, входившими в Антанту.

Аделина Патти (1843–1919) – итальянская певица. Дебютировала в 1859 году на сцене итальянской оперы в Нью-Йорке в партии Лучии. Пела во многих странах, с 1869 года – неоднократно в России (последний концерт в 1904 году).

Экольдебазар – (école des beaux arts – франц.) – школа изящных искусств.

Главковерх – верховный главнокомандующий.

В. Макаров.

150 000 000. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!